

ИРИНА.. МУРАВЬЁВА



ПОЛИНА ПРЕКРАСНАЯ

Ирина Муравьева
Полина Прекрасная (сборник)

«ЭКСМО»

2013

Муравьева И. Л.

Полина Прекрасная (сборник) / И. Л. Муравьева — «Эксмо», 2013

Полина ничего не делала, чтобы быть красивой, – ее великолепие было дано ей природой. Ни отрок, ни муж, ни старец не могли пройти мимо прекрасной девушки. Соблазненная учителем сольфеджио, Попелька (так звали ее родители) вскоре стала Музой писателя. Потом художника. Затем талантливого скрипача. В ее движении – из рук в руки – скрывался поиск. Поиск того абсолюта, который делает любовь – взаимной, счастье – полным, красоту – вечной, сродни «Песни Песней» царя Соломона.

© Муравьева И. Л., 2013

© Эксмо, 2013

Содержание

Полина Прекрасная	5
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Ирина Муравьева

Полина Прекрасная (сборник)

Полина Прекрасная

На прошлой неделе Полине стукнуло восемнадцать. Она была пышной, взволнованной, нежной. Мужчины: то отроки, то пожилые, с глазами навывкате, лысые, толстые, с глазами, прищуренными от вожделенья, с щеками румянными, бледными, впалыми, с высокими лбами и низкими лбами, с открытыми шеями и в пиджаках – короче, любые живые мужчины Полине почти не давали проходу. Они бросались к ней со своими глупыми разговорами и рты раскрывали, как будто хотели ее проглотить. Всю сразу: с зонтом и ботинками. И не оттого, что она была как-то особенно хороша, а оттого, что никого из этих мужчин Полина не собиралась на себе женить. Она никого не ловила. Странная эта, неженская черта так сильно отличала Полину от остальных представительниц прекрасного пола, что у мужчин раздувались ноздри. Раздувши же ноздри, они становились похожи на зверя, живущего в чаще, простого и честного. Ведь зверю не нужен букет или галстук, ему нужна просто любовь, о которой он детям своим – медвежатам и зайцам – расскажет в берлоге, когда низко, страшно гудит и рыдает метель за порогом, и если бы зверь этот – волк или заяц – не зверем бы был, а учителем пеня, то он бы сравнил голос зимней метели с каким-нибудь виолончельным концертом.

Принято думать, что мужчины хотят как можно скорее украсить свой безвольный безымянный палец обручальным кольцом. Неправда, вранье, клевета. Готовность жениться навязана мужчине женщиной, и если уж говорить откровенно, то на лице у всякой женщины такой есть почти незаметный крючок или такая вот скромная серая петелька, которую даже в хороший бинокль не сразу увидишь. Петелька эта или, если хотите, крючок располагается, как правило, в районе переносицы, но изредка прячется под подбородком, и человек, привлеченный к женщине глазами ее или тонкою талией, сперва замечает неброский дефект, но вскоре устает его замечать, а дальше известно, как это бывает: нарядного, словно артиста эстрады, в лаковых башмаках и белом пиджаке человека, терпко пахнувшего потом от волнения, сажают в большой лимузин и катают по городу. А он обнимает невесту за талию. Потом пьют шампанское. Но говорят, что в самый последний момент, когда уже желтые кольца надеты и все поцелуи наляпаны жирно, – тогда, говорят, прозревает жених и страшной тоскою так весь проникается, что даже и самый дешевый фотограф тоску эту передает на портрете. Стоит жених в новом и желтом кольце, хохочет, как клоун, но взгляд! Ох, и взгляд! У Гамлета был веселей перед смертью.

Полина сражала своим бескорытием. И облик ее, такой круглый и пышный, глаза ее ясные, нежные руки, которые даже зимой, сквозь одежду, и то прожигали насквозь, – все было беспечным, уютным и чистым. Красилась она только слегка, а одежду придумывала сама, украшая нехитрое какое-нибудь платьице то платочком, наброшенным на круглые плечики, то ниточкой бус, а то даже платочком и бусами и добавляла еще ко всему много разных колечек. Любила, когда все нарядно и пахнет каким-нибудь кремом. Клубничным, к примеру.

Кроме нарядной одежды, она любила всякую погоду и во всякую погоду чувствовала себя хорошо. Любила и лето, и осень, и зиму. Весну же любила особенно сильно и, когда начинали сжигать по дворам прошлогодние листья, а от земли поднимались первые, самые сильные запахи и взволнованно, жадно и нежно, на все голоса, пели птицы, что больше не будет ни смерти, ни слез, ни страданий, Полина сама расцветала, как роза. Подруги ее рисовали на лицах большие глаза, зачерняли носы (на кончиках, чтобы казались поменьше!), а волосы, жидкие, блеклых цветов, держали всю ночь в бигуди, так и спали, но очень страдали, и снились им часто

какие-то реки, в которые эти подруги входили, и их уносило холодным течением. Полина была далека от печали. Заплетала на ночь кудрявую свою косу, перевязывала ее ленточкой, мазала руки кремом «Детский» или «Юбилейный» и только касалась затылком подушки, как сразу врывалась в чудесную заводь, как утка, а может быть, лебедь невинный, и там, в этой заводь, было тепло, а если мелькали какие-то лица, то все эти лица ее веселили.

Как раз весной, перед самыми выпускными экзаменами, Олег Мухтарович Назаров, преподаватель сольфеджио, человек грузный, с серебряными висками, хотя молодой, еще до сорока, отец трех кудрявых малышей, которых жена его, тоже красивая, но слишком всегда маслянисто покрашенная, приводила зачем-то к ним в школу, – как раз весной Олег Мухтарович сообщил Полине, что ей необходимо позаниматься с ним сольфеджио дополнительно. И время назначил: 3:40, в четверг.

Полине нравился Олег Мухтарович ровно настолько, насколько ей нравились все остальные. Одно за всю жизнь исключение было: Лариса, соседка развратная с дачи. Ларисе тогда уже было пятнадцать, когда шестиклассница, наша Полина, ее заперла прямо в дачной уборной. Есть очень старинный дачный обычай: уборные строить подальше от дома. И пусть там стоят, никому не мешают.

Лариса, развратница, и просидела в уборной четыре часа, и никто – представьте себе: ни один человек! – не слышал Ларисиних горьких рыданий. Поскольку простой, незатейливый дачник отнюдь не стремится в какую-то будку. Зачем? Когда рядом и лес, и поляны, и куши, и рощи, короче, приюты для уединенья. Зачем ему будка? Однако под вечер обитатели дач услышали крики, сбежались, несчастную освободили, и тут появилась Полина с букетом:

– Она меня мучает. Я уже знаю, что делают мама и папа в кровати! Зачем же мне столько ненужных подробностей?

Ларису она не любила. Но прочие люди на свете ей нравились. И поэтому, заканчивая десятый класс, она нисколько не подозревала Олега Мухтаровича в каких-то там мыслях. Он был педагог и учитель. Малышки, дочурки его, украшали собою весь пахнувший хлоркой, большой вестибюль. Поодаль, на стуле, сидела жена, атласные, черные хмурила брови. И вся эта гадость, какую Лариса успела поведать на даче ей в детстве, за что и пришлось запереть безобразницу, – вся гадость касалась семьи лишь Ларисы, хотя ее толстеньких маму и папу представить себе без одежды было почти невозможно, а главное, незачем.

Теперь Полина заканчивала школу и, хотя другие девушки в ее годы знали о любви все на свете, а многие даже собирались замуж сразу же после выпускного бала, она была так же невинна, как раньше.

Между тем Олег Мухтарович потихоньку сходил с ума. Он сходил с ума, потому что думал о ней постоянно. Он представлял себе ее светлые волосы с ярким золотым отливом, ее сияющие глаза, ямочки на щеках, длинный нос, который в старости должен был изуродовать ее, а сейчас делал это лицо особенно наивным и простодушным. Насколько удачна была длина носа, что если бы общая мать всех – природа – сглупила и укоротила его, то внешность Полины бы вмиг потеряла частицу своей исключительной прелести. О теле ее Олег Мухтарович старался не думать. Как только он представлял себе, какая белизна, мягкость, медовость пряталась под неуклюжим школьным платьем, ему хотелось выть от отчаяния. Он родом был, кстати, кавказец, и прадед его долго дрался с Шамилем. А может быть, наоборот, за Шамиля, но важно не это. Безумие важно, мужское безумье. В конце концов он пригласил ее, чтобы решить все проблемы с сольфеджио. Ибо с сольфеджио этим и были проблемы. Потом можно будет вернуться в семью, заняться, в конце концов, дочками: Майкой, Аглайкой и младшей – капризной, болезненной Софочкой.

Полина постучала в дверь и сразу же вошла, не дождавшись ответа. Она, как всегда, немного опоздала, торопилась, и потому румянец у нее на щеках был особенно розовым, а

волосы на лбу влажными. Олег Мухтарович проглотил тугой ком и голосом, низким и нервным, сказал ей:

– Садитесь.

Полина тотчас же уселась на стуле, сияя глазами. И руки сложила. Они до отчаянья напоминали каких-то пушистых и белых птенцов.

– Могли бы прекрасно стать пианисткой. Могли бы. И этим украсить всю школу. Однако... Вы не пожелали. И вот результат...

Полина вздохнула от чистого сердца. Олег Мухтарович встал со своего кресла, близко подошел к ней и остановился.

– Не поздно еще, говорю вам: не поздно, – сказал он, и грубый отважный кавказец проснулся внутри его мощного тела. – У вас еще все впереди. Вот рояль. Садитесь к роялю.

В кабинете у Олега Мухтаровича стоял рояль.

– Спасибо. Конечно, – сказала Полина.

Теперь они оба стояли, и лица их были так недалеко друг от друга, что запах хорошего свежего кофе струился от скользких усов педагога в наивные детские ноздри Полины. Он вскрикнул гортанно, как если бы что-то застряло вдруг в горле, и сразу же сильно за талию обнял, словно игрушку. Полина отпрянула в страхе.

Даже если бы сам Шамиль или какой-то другой видный военачальник ворвался в эту минуту в кабинет Олега Мухтаровича Назарова и, наставив на него дуло пистолета, велел отпустить эту русую девушку, багровый и взмокший настолько, что майка, рубашка, трусы и носки нуждались в хорошей и долгой просушке, учитель вояке бы не подчинился. В пронзительной тьме золотилось пятно, которое было лицом ученицы, – он чувствовал, как оно только мешает ему своим этим сияньем, – а руки уже разрывали на ней черный фартук, и губы впивались в горячее тело. Оно было нежным и сладким настолько, настолько ничуть не похожим на прочие, что он все равно (не будь он отважным кавказцем, а просто хорошим, простым человеком!) не дал бы себя оторвать от этой пришедшей к нему в кабинет старшеклассницы.

– Мне больно, – стонала Полина. – Пустите!

– Женюсь! – бормотал он. – Женюсь завтра утром! Даю тебе слово!

Она задохнулась, и вдруг ее пальцы запутались в шерсти, так, словно учитель был не человеком, а мокрой овчиной. Когда же она оказалась на липком, нагретом полу, то все сразу исчезло. Была только боль и такой острой силы, что, кроме нее, ничего не осталось. Она укусила себя за запястье, боясь, что кричит, но она не кричала. Какое-то время прошло. Но какое? Из тела ее, как из глины, весь красный, трясущийся весь, поднимался Назаров. Лицо его было в разводах и ссадинах.

Полина осталась лежать. Он же, жалкий, упал прямо в кресло и замер в тревоге. Он видел себя в кандалах, за решеткой, сквозь прутья которой сквозили то Майка с Аглайкой и Софочкой, младшей, то Нюся, жена, то какие-то люди, которые вынесли свой приговор, и жить ему месяц осталось, не дольше.

– Вставайте, – сказал он, трясась. – Что лежать-то?

Полина с трудом поднялась и прикрыла свою обнаженную грудь рваным фартуком. Назаров вдруг встал на колени.

– Полина! – он вскрикнул мучительно. – Ведь расстреляют! Клянусь вам Аллахом! Как только вы скажете им, что я сделал...

– Кому я скажу? – прошептала Полина.

– Кому? Я не знаю, кому! Прокурору.

– Да я никому не скажу. Ни за что, – сказала она.

Он понял, что это все так вот и будет: не скажет она никому, ни за что. И прежняя власть зажглась в его взоре.

– Не скажете? Вот хорошо! Я уж думал... Любовь, это... знаете... Землетрясение... – забормотал Олег Мухтарович и вдруг суетливо подбежал к шкафу, вытащил оттуда большой женский шарф и ловко набросил на плечи Полины. – Сейчас никого в школе нет. Хотите такси? Я вызову мигом, и вас довезут...

– Не нужно, – сказала Полина и вышла.

В уборной на первом этаже стояла девушка из параллельного класса, Леля Мартынова, дочка одного из многочисленных наших космонавтов, которых, как птиц, выпускают в небо, и их там становится больше и больше.

Странный облик вошедшей Полины приковал ее внимание.

– Ты что? Как сама не своя? – спросила участливо Леля Мартынова.

– Я? Нет. Я в порядке, – сказала Полина.

– Какой же порядок? Ты вся в синяках, – заметила Леля.

Быстрая, как молния, догадка осветила ее заурядное лицо.

– Ты с парнем своим? Упротил? Ты дала? Они ведь такие: не дашь, так и все. Уж лучше давать, а то просто как звери...

– Какой еще парень? – вздохнула Полина.

– А как же синяк? И нога вон в крови!

– Послушай: оставь! Что тебе? Ну, зачем? – отмахнулась Полина.

И Леля ушла. Как только за нею захлопнулась дверь, Полина на полную мощность открыла тугий медный кран и припала к холодной струе, как собаки в жару, к воде припадая, лакают ее, пока не напьются до изнеможенья.

Эта драматическая история имела два результата: Полина оставила занятия музыкой, ноты сложила в стопочку, перевязала их веревкой и вынесла на помойку, а сам инструмент, очень чуткий и нежный, завесила тюлем, и стало похоже, как будто в квартире стоит колыбель. Второй результат был еще даже горше. Поступив на филологический факультет Московского государственного университета, Полина мечтала сама полюбить, мечтала и чтобы ее полюбили, и липли к ней с разных сторон, к первокурснице, поскольку вокруг было много студентов, и всем им хотелось того же, что ей, но не было чувства, а был только страх. Как только ее обнимали, пытаясь просунуть ладони куда-то пониже, она погружалась в столбняк. Разлетались кровавые брызги в глазах, и хотелось рыдать во весь голос. Вот именно так: рыдать во весь голос, до хрипа, до рвоты.

Чем знаменит Московский университет? А тем, что там много приличных людей. Посмотришь с холодным вниманьем вокруг: ну, каждый четвертый, а может, и третий. На филологическом факультете, где теперь училась наша Полина, приличных людей было много, не спорю. Но юношей мало. Внизу, на истфаке, вообще караул: три юноши, но никуда не годятся. Два слишком кудрявых, а третий – женат. Спасаясь от монастырского своего одиночества, студентки филфака, а также истфака искали любви на чужой стороне. Чужой стороною в ту пору служило высотное здание на Ленгорах. И в нем, как икринки, которые станут со временем рыбами, зрели, мужали студенты мехмата. На горе другим и себе не на радость они ощущали внутри гениальность. Опасная вещь: гениальность, ненужная. Возьмите – кого? Да хоть Маркса, хоть Пруста, Бетховена с Гоголем, Ленина с Кафкою, возьмите Ефремова и Солженицына, из женицин возьмите... Нет, женицин не нужно. Не нужно их брать, они только запутают. Так вот, говорю я: возьмите вы гениев и загляните в их бедные души. Ой, страшно. Ой, не подходи! Ну, вот так-то.

Обьятия и поцелуи в подъездах, а также на скользких, холодных скамейках случались теперь в жизни нашей Полины с отзывчивой помощью этих студентов. Но их гениальность была им дороже всего остального. Любовь – хороша, а наука – дороже. Едва только бедная наша Полина, уже обнажившаяся постепенно, смущенно вставала с кровати и, плача, шеп-

*тала, что, кажется, нынче **нельзя**, ученые юноши вмиг одевались, очки нацепляли и живо бежали обратно, к тоскливым своим теоремам. Спасибо, что предупредила. Ура.*

(Проклятый Назаров, сгубивший ей жизнь, позабыл тот вечер, весенний и душный, когда он вернулся домой, перепуганный, включил телевизор, а там малышей учили, как из ярко-желтой бумаги легко можно вырезать звезды с луною, и он умилился на дочек: забралась, лепеча и смеясь, на колени, и сразу их пушистые волосы зашекетали ему подбородок, и запах детский, молочный и нежный, его успокоил.)

Во время летней сессии в университетскую столовую стали почти каждый день завозить особенное лакомство: желтого цвета пирожные, вылепленные в форме утят. Излишество, скажете? Нет, не излишество, а просто забота о русском народе: могли бы пончик какой-нибудь сделать, и съели бы граждане, не подавились, а тут ведь какие потратили деньги и сколько труда, сколько умной смекалки, пока изваяли вот этих утяток!

Утром в среду сидела одинокая Полина с пучком на затылке в столовой и ела сметану. Сметана была расфасована так: две трети стакана и по половине того же стакана. Сметана всегда была чуть кисловатой, а желтый утенок до ужаса сладким, и вместе они дополняли друг друга. Полина, любившая сладкое, тихо кусала от круглой его, золотистой головки и сразу ее заедала сметаной. При этом смотрела в учебник, поскольку шел май, было много зачетов.

И вдруг к ней подсел кто-то темный и чуждый. Она подняла глаза от учебника и увидела перед собой незнакомого африканского человека с такими яркими белками, как будто это были не человеческие глаза, а два только что очищенных заботливой хозяйкой, еще не остывших куриных яйца. Он ей улыбнулся, и зубы сверкнули.

– О, здравствуй! – сказал африканец. – И как вы живете?

– Нормально, – сказала Полина. – Экзамены.

– Я тоже нормально, – ответил он гордо. – И как ваше имя?

– Полина, – сказала Полина и вся покраснела.

– Мой бабушка имя зовут: Каролина. И это похоже на вас.

Полина представила ясно далекую бабушку и вся покраснела до слез почему-то.

– Ты хочешь гулять? – спросил он.

– Но я занята сейчас, я занимаюсь, – сказала Полина, – а вас как зовут?

– Я Луис, – сказал он, – и папа мой Луис. И значит: я Луис Луисовиш.

Он расхохотался и ей подмигнул. Он был с чувством юмора, это заметно.

– Вы учитесь здесь? В МГУ?

– Здесь учусь. Я раньше учился немного в Сорбонне, потом еще в Гарварде. Очень хочется знать весь ваш язык. Я его уже знаю.

– А где сейчас ваша семья?

– Мой мама и папа давно не женаты. И папа в Париже. Там дочка: Сюзан. А мама живет с моим бабушкой в Кении.

Несмотря на нечастые ошибки, русский язык его был беглым и даже акцент весьма славным.

– Пойдемте гулять, – вдруг решила Полина и быстро закрыла учебник.

Сопровождаемые тяжелыми взглядами буфетчицы, давно ставшей бледной от всех озлоблений, скопившихся в сердце ее еще с детства, с ногами, отеками от озлоблений, с руками, неловкими тоже от них, они, за спиною оставив утят, вошли в пустой лифт и в нем поцеловались. И не было в этом ни тени порока, а просто готовность продолжить знакомство.

До четырех часов утра Полина и африканский студент Луис гуляли по бесчисленным тропинкам Ленинских гор, где Ленин – случись ему там прогуляться, да в мае, когда все цветет, да с девушкой, вроде чудесной Полины, – забыл бы и думать о красном терроре. Новый невиданный мир раскрылся перед глазами молодой, нигде еще не побывавшей москвички, когда

Луис, настоящее имя которого оказалось, кстати, не Луис, а Лумузин, рассказал ей об ослепительных красотах Кении, омываемой водами Индийского океана с одной стороны и ярко-синим озером Виктория с другой. Полина дышала прерывисто, страстно, как дышит и та, кто готовится к смерти, и та, кто, напротив, рождает младенца, дышала, как лань на бегу, как невеста, узнавшая, что ее суженый жив, дышала всей грудью, всем горлом, и Луис от звука дыхания ее содрогался и, чувствуя, что он теряет рассудок, шептал и шептал ей, какие там, в Африке, стада антилоп, и какие фазаны, какая там лава, и рифы, и скалы, а встретишь вдруг в джунглях чужого, скажи: «Приятель! Я вижу, что ты из бакига».

– Что ты: из чего? – удивилась Полина.

Блещущий яркими белками в полутьме скромной московской зелени, где нет олеандров и тропических бабочек, студент Лумузин объяснил ей, что люди из этого племени славятся твердостью. Бакига не знают ни грусти, ни жалости. Вот если случится, что вырастет пузо, когда еще девушка замуж не вышла, ее моментально увозят на остров, и там пусть она помирает без пищи, а также бывает, что сбросят с утеса.

Тут вспыхнула гордость в лице Лумузина: ведь всякий считает народ свой великим. Полина, напротив, покрылась мурашками, представив беспечных студенток филфака, которых бы то увозили на остров, а то бы бросали с высокой скалы.

Примерно в два тридцать измученный Луис привлек к себе еле знакомую девушку и стал целовать ее в пухлые губы. Все гибкое тело его раскалилось, а руки, обвившие нашу Полину, дрожали от яростной страсти столь сильно, что, слившись в объятьях, студент со студенткой напомнили дерево перед грозой. Вот так и его, озаренное молнией, качает и гнет во все стороны, так же! Настолько разительно было отличие африканского человека Луиса от вежливых соотечественников Полины, стремящихся получить образование в стенах Московского государственного университета, что ни прежнего страха, ни отвращения к физической близости, которую заронил в ее сердце безответственный Олег Мухтарович, не наступило и, вся трепеща, как кенийская птица, влюбленно клюющая спину жирафа, искусанную насекомыми в кровь, – да, вся трепеща, как кенийская птица, Полина легла на помятую траву, и Луис, почти не заметный во мраке, накрыл ее телом.

Светало, когда он ее отпустил. Река была серой. Худой соловей, давясь своей сладкой, сияющей трелью, сглотив червяка, улетел восвояси. Внутри их волос шелестели травинки, и божья коровка, неловко сползая по шее Полины, уже торопилась к заждавшимся детям. Все жило обычною жизнью. Полина, упавшая в траву часа два назад, была одинокой и грустной, а встала она с этой теплой травы столь счастливой, что чуть не смеялась от жадного счастья.

Луис обнял ее за плечи, они спустились с Ленинских гор, метро еще не работало, но какой-то частник, некрасиво опухший от семейных неурядиц, впустил их в машину и быстро довез до подъезда Полины. Она постояла немного, помедлила. Подъезд был уродливым, темно-зеленым, и дверь вся чернела дурными словами.

– Ты мне не звони, – попросила Полина. – Увидимся завтра в столовой.

Мама и папа, с которыми она жила с самого своего рождения, не спали и встретили дочку скандалом. Квартира была небольшой, аккуратной, мама работала бухгалтером в поликлинике, а папа концертмейстером в театре Красной армии. Они были самого среднего возраста, не слишком любили друг друга, поскольку у папы давно была женщина. Мама, хотя обо всем этом знала и злилась, но все-таки папу к ней не отпустила. Сейчас их сближал страх за дочку Полину, и оба, пропитанные валерьянкой, увидели, что дочь их жива и здорова, и тотчас же схватили ее за рукав.

– Как ты! Как могла! – Мама чуть не упала. – Ты кто? Проститутка! Ты знаешь, ты кто?

– Немедленно мне отвечай! – крикнул папа, имеющий дело с высоким искусством. – Немедленно! Я не шучу! Ты с кем шлялась? И где? Где ты шлялась? И с кем? С кем и где?

Полина решила, что скажет всю правду. Она была часто не в меру правдивой.

– Ну, я познакомилась с парнем. Он черный. Вернее: он родом из Кении. Вот. И мы с ним гуляли.

Мама прислонилась к стене и закрыла глаза.

– Тебе, – не открывая глаз, прошептала она, обращаясь к папе, – тебе за грехи твои... Вот, получай...

– Я здесь ни при чем. – Папа скрипнул зубами. – В нормальной семье мать должна объяснить, что можно и что нельзя, а у нас...

– Откуда у нас быть нормальной семье? – И мама открыла глаза. – Ты не знаешь?

– Полина! – У папы раздулось лицо. Полина заметила, как он стареет. – У вас была близость, ну, с этим... ну, как его?

– С Луисом. – Полина доверчиво вспыхнула. – Он мне предложение сделал. Сегодня. Ну, я согласилась.

– Она идиотка у нас. Ненормальная. – И мама вновь быстро закрыла глаза. – Вся в бабу, в мамашу твою.

– Молчать! Я просил замолчать! – Тут папа так гневно затряс свою дочь, что сам весь затрясся. Полина боялась, что папа почувствует запах Луиса, тряся ее, словно какую-то куклу. – Ты шутишь, надеюсь?

– Нет, я не шучу. – Полина слегка от него отодвинулась. – Ведь мне почти двадцать. Ну, что тут такого?

– Да хоть сорок пять!

– Ох, кто на ней женится? Что ты, ей-богу! – И мама открыла глаза. – Получит кенийскую язву с глистами. А может быть, сифилис. Этим все кончится.

Конечно же, мама несла чепуху. Кенийских ведь язв не бывает в природе, бывают тропические. Возникновение глистов-паразитов не связано с ними. И язва – сама по себе, ни при чем здесь глисты.

– Короче, – сказал мрачно папа. – Обходишь и впредь будешь мне обходить за версту любого такого еще черножопого! И чтобы мы с мамой об этом не слышали!

Полина укоризненно посмотрела на папу своими чудесными глазами.

– Я так не могу, – прошептала она. – Мне стыдно за вас...

И голос прервался. Тут папа схватил сам себя за виски и вышел на кухню нетвердо, как пьяный. Полина и мама остались вдвоем.

– Попелька, – сказала мама, хитростью пытаясь вернуть себе дочернее расположение и поэтому называя Полину тем именем, которым ее называли в детстве. – Папа, конечно, грубо сказал, и люди равны... – Она помолчала, поправилась. – Хотя не всегда. И, конечно, не все. Поскольку ведь есть людоеды, пигмеи...

– Но он не пигмей, и он не людоед! – вскричала Полина сквозь слезы. – Он кончил к тому же Сорбонну и Гарвард!

У мамы глаза посветлели, блеснули.

– Откуда ты знаешь?

– Он сам мне сказал.

– Он что, из богатой семьи?

Полина махнула рукой.

– Нет, ты погоди! Погоди мне махать! – И мама сама замахала руками. – Ведь если он так образован и деньги... Он что, из плантаторов родом?

– А как же? Откуда еще? Там огромные деньги! Там прииски, там миллионы, поместья. Свои антилопы, свои обезьяны. Отец вон скупил половину Парижа. А ты что подумала?

– Как половину? – И мама вдруг вся покраснела. – Парижа? В Париже скупил половину чего? Ну, это же все абсолютно меняет! А он очень черный? Твой, этот... ну, как его?

Полина и всхлипнула, и засмеялась:

– Вы дикие люди. Расисты. Мне стыдно, что я ваша дочь.

В полдень она сидела в столовой на том самом месте, на котором сидела вчера, только на это раз не было никакой сметаны, а был только чай в непромытом стакане. Луис, ее возлюбленный жених, ворвался в столовую так, словно кто-то за ним сейчас гнался. Его шоколадная скользкая кожа была темно-серой от гнева.

– Полина! Не слушайся злых!

Полина была уверена, что он имеет в виду ее отсталых родителей, и ужаснулась жениховской проницательности.

– Она говорит, – вскрикнул Луис гортанно, – что это ребенок меня! Не меня! Ребенок Гамюка. Конечно, Гамюка! А может быть, Дабуламанзи.

– А кто это: Дабуламанзи? – спросила Полина.

– Один из Туниса, – сказал он. – Неважно! Ребенок ее не меня.

Полина привстала со стула:

– О ком ты?

У Луиса грозно сверкнули белки. Ответить, однако, он ей не успел. В столовую входили две девушки: одна – очень высокая, обмотанная оранжевым шарфом, бледная, с темными кругами под глазами и большим ртом; вторая – невысокая и кривоногая, с прекрасно развитой, сильно открытой вырезом черной майки грудью, нежно-оливковыми щеками и длинными густыми волосами, текущими вольно до полных локтей. Обе они учились на филфаке, но подругами застенчивой Полины никогда не были, так как жили в общежитии.

Бледная и высокая, в оранжевом шарфе, быстро подошла к Луису и взяла его под руку. Он выдернул руку и, тихо рыча, поскольку был сильно обижен, сказал ей:

– Береза, уйди.

У бледной девушки по фамилии Береза увлажнились глаза. Звали ее Клавдией, но редко кто обращался к ней по имени, поскольку сказать человеку «Береза» гораздо звучней, чем сказать просто «Клава». Полина почувствовала, что ей становится не по себе и нужно скорее бежать из столовой, где сердитая буфетчица то и дело выхватывает с подноса одного слабого утенка за другим, бросает его на тарелку, а после трет желтые ногти о круглый свой бок.

– Напрасно ты, Поля, – сказала ей спутница Клавы Березы. – Тебе развлечение, забава, а тут ведь семья.

На них начали оглядываться. Крепко прижав сумку к груди, Полина рванулась к выходу, но Луис перехватил ее за локоть. Он страшен был в эту минуту. Лицо его дергали жгучие молнии, тяжелые губы открылись, как раковина, и он мог вполне прокусить Клаве горло, когда бы решился на этот поступок.

– Пусти меня, Луис! Не нужно! Пусти! – взмолилась Полина.

Вокруг начались кривотолки и сплетни. Народ ведь не может молчать. Не привык.

– Совсем девки стыд потеряли! Ну, блин, – сказала буфетчица. – Я так, хоть это... Хоть озолотите, чтоб я вот с таким...

Она прикусила язык, но глазами закончила эту бестактную мысль.

– Так он же богатый, – вздохнула с ней рядом какая-то женщина, не из студентов. – У них, говорят, миллионы там, в Африке... Квартиру снимает на Ленинском. Гнида. Один, говорят, проживает в трех комнатах...

Полина готова была провалиться сквозь землю. Худая и бледная Клава Береза, сорвав свой оранжевый шарф, показала собравшимся еле заметный живот.

– Ну, видишь теперь? – продышала она. – Куда ты полезла? Сперва бы спросила...

Полина не стала терпеть. С трудом отодрав от себя пальцы Луиса, она убежала из душевой утятницы и бросилась к лифту. Ей вслед доносились рыдания обиженной будущей матери.

– О боже! – шептала Полина уже на бегу, не видя, не замечая прохожих, которые нежно ее провожали глазами: красивая девушка! Плачет навзрыд. Золотоволосая, длинные ноги. – И что мне теперь с этим делать, о боже!

Она не могла даже объяснить себе, в чем именно беда: то ли в том, что ей придется расстаться с полюбившимся ей африканским студентом Луисом, то ли в том, что несчастная Клава Береза так цепляется за него, а он ее вовсе не хочет и даже ребенка, который пока что на свет не родился, ничуть не жалеет.

К вечеру у Полины поднялась температура, жестокий озноб заколотил ее женственное тело с широкими бедрами, тоненькой талией и нежною россыпью розовых родинок над левою грудью. Губы у Полины пересохли, а веки горели, как будто на каждом лежали горчичники. В полночь она начала задыхаться и пороть чепуху. Перепугавшаяся мама (папа был у своей женщины и дома не ночевал!) вызвала неотложку, и Полину сгоряча увезли в инфекционную больницу с подозрением на редкое по нынешним временам заболевание: брюшной тиф. В изоляторе, куда ее положили, худенькая нянечка с синеватым подтеком под глазом, взглянув на Полину, сказала ей строго:

– Красивая, а не жилица.

И сразу ушла, словно ей надерзили.

Трудно сказать, что послужило причиной странного сновидения, которое посетило молодую нашу героиню в эту ночь, но очень похоже на то, что слова глупой няньки могли ему очень и очень способствовать. Во сне Полина почувствовала, что она умерла, но не в этой больнице, а на берегу ярко-синего озера. С правой стороны его чернела застывшая волнообразная лава, а слева краснели кораллы. К тому же росло очень много цветов, и бабочки плавали в воздухе. Сама же внезапно наставшая смерть Полину ничуть не пугала, напротив: она оказалась приятным событием. Во-первых, конечно, вся эта природа. Но если бы только природа! Все тело ее словно стало другим: взволнованным, жадным, упругим, счастливым, и кровь принялась, как наливка, бродить, и ноги наполнились резвою силой. Они ее сами куда-то несли: Полина летела, земли не касаясь. Вдалеке, размытые ветром, пронизанные солнцем, появились очертания мужского тела, и сердце Полины забилося так громко, как прежде, при жизни, не билось ни разу. Незнакомый человек с большой головой и крупными кольцами светлых волос, нависшими низко над выпуклым лбом, совсем как Полина летел к ней по воздуху. Полина смутилась и крепко прижала к груди свои руки. Он обнял ее.

– Узнала меня? – прошептал незнакомец. – О нежная дева моя! Голубица!

– Мы разве знакомы? – спросила Полина.

– Прекрасны ланиты твои под подвесками, и шея твоя в ожерельях! – вздохнул он, как будто не слыша.

Полина была в синих маминых бусах. Свисали с нее желтоватые серьги.

– Да это все мамино! – вспыхнула наша совсем небогатая робкая девушка. – Мы с ней побрякушницы обе...

– Золотые подвески мы сделаем тебе, – перебил он, – с серебряными блестками...

Полина совсем растерялась.

– А где мы? – смутилась она. – Мы в раю? Красиво-то как!

– Зима миновала, – ответил он ей. – И дождь миновал, перестал, смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!

Полина доверчиво прижалась к нему своим пышущим телом.

– Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность, – заметил он, страстно целуя Полину. – Стрелы ее – стрелы огненные, она – пламень весьма сильный...

– Да, ревность ужасная, просто ужасная! – шепнула Полина, лицо свое пряча на этой широкой груди. – Ну пусть Клава! Пусть Клава Береза! Но только не ври! А то я ведь в Африку чуть не уехала, а Клава ребеночка ждет от него...

– Шея твоя, – продолжал он, – как столп из слоновой кости, глаза твои – озерки Есевонские, нос твой – башня Ливанская, обращенная к Дамаску...

Полина вся вспыхнула жгучим стыдом.

– У нас вся семья вот такая: носатая, – убито сказала она.

Светлоглазый воскликнул, смеясь ее опасеньям:

– О как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочь именитая! Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза...

– «Да что же все люди так смерти боятся? – подумала ошеломленно Полина. – Насколько ведь лучше, чем было при жизни!»

А вслух прошептала:

– Конечно, пойдем. А то еще хватятся, станут искать...

Он сжал ее нежные груди в руках.

– Два сосца твои – как два козленка, двойня серны...

Она с умилением вообразила козлят новорожденных, маму их, серну...

– Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! Потому что голова моя вся покрыта росой...

Полина заплакала и задохнулась.

– Вот, Господи, встретила! Вот он, любимый! Вот суженый мой! Вот жених мой законный!

Она изо всех сил обхватила его покрытую жемчужной росой голову, поцеловала его в лоб, потом еще крепче прижалась к нему и, чувствуя, что уже громко кричит и плачет от счастья и хочет скорее познать его силу и ласку, проснулась.

Над нею был серо-голубоватый потолок с разводами от просочившегося сквозь крышу дождя. И пахло так кисло, как будто бы рядом разулся старик.

– А я, как вчера-то тебя привезли, ну, думаю, все, до утра не протянет! – бормотала нянька и холодными пальцами засовывала термометр Полине под мышку. – Сестричка сказала: «Поставь, у ней жар, а я зашиваюсь одна!» Ну, так что же? Поставим, конечно. Подмышку давай, чего вся упряталась? Мы не кусаемся. А я на тебя посмотрела: лежишь и вся заливаешься: «Ах, ах!» да «Ох, ох!». Ну, думаю, бред у ней, жалко: помрет. Чего веселилась-то? Что тут смешно? Больница у нас, ничего тут смешного...

Полина ужаснулась жестокой правде, открывшейся заново ей и как будто рывком с ее тела содравшей всю кожу. Она заболела, попала в больницу, сейчас придет доктор и даст ей лекарство. А дома волнуются мама и папа, и дождик стучит безнадежно по крышам, и люди в метро так толкают друг друга, что кости болят, когда выйдешь наружу... Ах, господи! Это и есть наша жизнь?

И тут же ее осенило:

– *Здесь*, значит, Мухтарыч, и Клава, и все, а *там* будет он.

Она вспомнила его широкое и радостное лицо, сияющие любовью глаза, почувствовала, как своей крепкой ладонью он властно провел по груди, содрогнулся...

– Теперь я хоть знаю, какой он по виду. Какие глаза у него, губы, руки. А волосы эти и вся голова! Как будто бы белый, махровый цветок...

Слезы полились по щекам, и, стесняясь наблюдательной нянечки, Полина отвернулась к стене.

– А жар-то ведь спал, – разглядывая чуть-чуть потеплевший термометр, пробурчала нянечка. – Привозют нам тут симулянтков без толку, а вот заболит приличная женщина, ее покладут в коридоре, и ладно. А что им! Им план надо выполнить! Вот что!

В дверях, очень бледный, с небритым лицом, уже стоял доктор. Он тяжело вздохнул, откинул одеяло и начал, как тесто, месить ярко-белый, прекрасный Полинин живот.

– Нет, мне неп-п-понятно, – сказал он устало. – Зачем же ее прямо к нам привезли? Теперь ее нужно неделю держать, а мест в изоляторе нет. Н-непонятно... Куда мне ее?

Еще помесил, и помял, и с досадой совсем отошел от кровати.

– Везите ее к Марь Мосевне на третий! – сердито сказал он кому-то. – Пускай забирают, и лечат, и холят. А я не козел отпущения, дудки!

При докторском упоминанье о козах Полина вся вздрогнула: только что были козлята-двойняшки, пугливая серна, и синее озеро тихо плескалось, и птицы летали над ним, словно ангелы...

Справедливости ради нужно заметить, что в гинекологическом отделении, куда доктор, не желая возиться с Полиной, поместил ее на целую неделю, все было, однако, не так уж и страшно. Вернее сказать: страшно было. Но так не бывает, чтобы под ногами разверзлась вдруг бездна, и там, внутри бездны, металось бы пламя, и золото сквозь черноту полыхало, и дым бы клубился, и пахло бы серой, а вы бы стояли в ажурных чулочках, смотрели бы сверху и радостно шурились. Жуткая новизна этого мира, составленного целиком из женщин, сперва оттолкнула Полину, но тотчас же снова втянула в себя, в свою красноватую, влажную мякоть.

В палате, куда ее очень небрежно, толкая больных и другие каталки, привезли рано утром и бросили сразу на койку, лежало одиннадцать ей неизвестных, живых, любопытных существ. И сердце Полины, столь чуткое к счастью, покрылось какою-то смертной тьмой: она испугалась их взглядов.

Время было утреннее, женщины, полусонные и бледные от насильственного пребывания в одной комнате, еще не поевшие и не попившие, с растрепанными волосами, пахнувшие сладковатым и терпким потом, смотрели и пристально, и равнодушно, как смотрят те люди, которым неважно все, что происходит снаружи, вне тел их. Но этот жестокий болезненный взгляд развился в них вот почему: им казалось, что речь идет лишь о страдающем теле. Напрасно! Что тело? Темница души! Всмотритесь же в суть. Что вы видите? Господи! У нескольких только что оборвалось счастливое их ожиданье младенца, и эти сосуды, в которые мощно текла неизвестная жизнь, вдруг лопнули, словно капрон на морозе. Оставшись же наедине с пустотой, беззвучно звенящей, поскольку там, в небе, уже ангелы принимали в свой сонм еще одну светлую кроткую душу, они чуяли в теле какую-то странную тяжесть, хотя им теперь полагалось испытывать легкость.

Другие, напротив, ходили порожними, и их ничего не брало, не ловило, и не было смысла в потрепанной жизни. Тела этих женщин завяли, как травы, любовь их не грела, и страсть не спасала, и то, что должно было заколоситься, и вспыхнуть во тьме, и наполниться соком, по-прежнему было пустым и ненужным, как кухня без ловкой и доброй хозяйки. А были и те, от которых дитяти стремились уйти, не дождавшись рожденья. Они-то и были особенно нервными. Короче: всем женщинам в этой палате, отнюдь не знакомым с уставами неба, не ведавшим, что движет жизнью и смертью, им всем, погруженным в телесные муки, совсем было не до какой-то Полины. Полина была безразлична соседкам, как дождь за окном невеселой больницы.

– А мой вчера дома-то не ночевал, – сказала с ней рядом весьма пожилая, наверное, лет сорока, с животом, похожим на очень большой огурец. – Пошла позвонила ему, не ответил.

– Так, может, он спал? Может, выпил с друзьями? – спросила другая, с обвисшею грудью.

– А что мне с того? Надрался, конечно, потом сразу к этой... Убить бы ее, окаянную стерву...

– Еще одна будет. Ведь всех не убьешь.

Полина, свернувшаяся под одеялом, как птенчик в гнезде, от души поразились: ведь как это просто и как это верно! Вот с Луисом так же: любил сперва Клаву, потом появилась Полина и тоже... Потом он уедет к себе в эту Кению, и там заведется какая-то женщина. А может быть, к папе метнется, в Париж, кого-нибудь встретит на Полях Елисейских, а то, что Полина, свернувшись, лежит на этой заржавленной койке в больнице, он знает ведь не знает и ведать не ведает.

Однако Полина опять же ошиблась. В тот ветреный день, в день дождя над Москвою, и Луис не спал, хотя очень хотел бы. Те люди не правы, которые думают, что чем человек от рожденья южнее, тем он энергичнее. Ровно напротив: южане как раз безмятежно-ленивы. И Луис, рожденный под звездами Африки, под небом ее, столь спокойным, что даже остатки седых облаков, паутинки, которые (если они не над Африкой!) немедленно рвутся и, лишь попадая сюда (то есть в Африку!), медлят, томятся, любил много спать. И часто ложился и спал очень крепко. Привычка – замечу – всех в мире плантаторов и всех, у которых свои антилопы, свои стада тучных и сытых коров и слуги: по три человека на комнату. Такие всегда много спят. А что им не спать? На работу не надо. Лежат в гамаках и сигарой дымят.

В тот день, когда Клава Береза с подругой, которой и мы отомстим, как умеем, не давши ей даже красивого имени, ворвалась в столовую и сообщила про эту беременность (неподтвержденную!), в тот день африканский студент Лумузин потратил почти девять долгих часов, пытаясь найти свою милую девушку. Нигде ее не было. Кроме того, никто и фамилии толком не знал. Ведь он, Лумузин, проходил обучение в большом, главном корпусе на Ленгорах. Полина же, как все простые студенты, училась в другом, то есть гуманитарном.

Многие запомнили гибкого Лумузина именно таким, каким он был в тот день: решительным, яростным и необычным. Отшвырнув от себя вцепившуюся ему в руку Клавдию, Лумузин почти догнал Полину у самого лифта, но кабинка была переполнена, и ему пришлось остаться в ожидании следующей. Когда же он съехал наконец вниз, на первый этаж, Полины там не оказалось. В глазах потемнело у Луиса. Бежал он с закушенной нижней губой по белой от яблонь аллее к метро, надеясь, что все же догонит Полину, но кто же мог знать, что в то время Полина бежала в другую, ненужную сторону, поскольку, рыдая, не соображала, как ей поскорее добраться до дому. Потратив на поиски долгое время, свирепый, как Зевс, Луис вспомнил про Клаву и с пеной, собравшейся прямо у губ, – густой, словно серая пена прибой, – вернулся к себе в главный корпус.

Отчаяние говорило ему, где можно найти сейчас подлую Клаву, с которой он не собирался рожать, воспитывать и обучать ее деток, совсем не желал вести лгунью к венцу, а после катать на машине в Париже. На кухне, куда он пришел, ее не было. Но Луис, охотник кенийского леса, учуял Березу сквозь плотную дверь, как племя бакига и ночью и днем всегда чувствует зверя в нехоженой чаще.

Беременная почивала на койке, уверившись в бегстве ничтожной Полины, раздавленной ею сегодня в столовой. Увидев вошедшего, Клавдия вскрикнула.

– О мерзко! – сказал ей суровый студент Лумузин.

– Что мерзко, Луизик? – спросила она.

– Ребенок в тебе не меня! Ты – Гадкая Злая!

– А чей же ребенок?

– Ребенок Гамюка и Дабуламанзи!

«Тогда, значит, их у меня сразу два!» – сверкнуло в мозгу Гадкой Злой.

Но вслух она громко сказала:

– Тебя, Лумузинчик. Я верная женщина.

От негодования он пошатнулся и русский язык засорил африканским.

– Ку! – вскрикнул он дико. – Ку! Чу! Рас! Ку! Чу! Пум-пум!

– Луизик? – закрывши на всякий случай живот одеялом, спросила несчастная Клава Береза. – Какое «пум-пум»? Что такое: «пум-пум»?

– «Пум-пум», – прохрипел ей свирепый Луизик, – есть срочное место! Вот это: «пум-пум»!

– Какие слова-то... – промолвила Клавдия. – Откуда слова-то такие берутся?

– Молчи! Карасата ма бу!

Признавшись на камба (язык его племени!), что больше не может, он начал душить ее черной рукою. Но Клава была хоть уже на сносях, однако не хилая, рыхлая девушка. Она изловчилась, боднула коленом, удачно попала куда-то, и он завыл, зарычал, закипел и затрясся – кровавые искры посыпались густо, – а Клава кричала благим матом так, что сразу сбежались: вьетнамская комната, монгольская комната и три бурятки. Под этими дальневосточными взглядами Клава, хрипя и рыдая, подставила шею под крепкую ледяную струю. Вся шея ее была сплошь в синяках.

– Ай! Ай! – закричали бурятки. – Ай, что!

– Любимый душил, а вот недодушил, – ответила Клава, дрожа мокрым ртом. – Видали, какие дела?

Дисциплинированная вьетнамская комната переглянулась с дисциплинированной монгольской, и старосты обеих комнат (один в синих тапках, другой в сапогах, расшитых узорами, очень богатых!) куда-то исчезли.

Студент Лумузин, рыча, и скуля, и стеная от гнева, поскольку он недодушил до конца, и вырвалась Гадкая Злая, и дышит, вошел смело в кухню к различным народам.

– Ай! Ай! – закричали бурятки. – Не друг!

И быстро закрылись большими руками. Кенийский студент хотел было уйти, но путь ему вдруг перекрыли два старосты (один в синих тапках, другой в сапогах!), а также сержант нашей славной милиции.

– Пройдемте, – сказал очень мелкий сержант, особенно тусклый на фоне кенийца. – Пройдемте сейчас в отделение.

– Чу! – сказал ему Луис. – Чу сама шата!

– Мы по-негритянски не можем. Вот так, – нахмурился мелкий сержант. – Не обучены. Пройдемте составим на вас протокол, задержим вас, ну, и начнем разбираться.

– Я, – на чистом русском сказал Лумузин, – убью эту вашу пум-пум все равно.

– Убьете... – нахмурился мелкий сержант. – Вот так и запишем: угроза убийства.

– Вот видишь, Луизик, – сказала Береза, белея своими большими губами. – Ведь я говорила: давай мы поженимся. А ты все: пум-пум да пум-пум. Что: пум-пум? Теперь вот тебя упумпумят, родной. Костей не собрать. Вот увидишь.

А мелкий сержант откуда-то вынул стальные наручники. Бурятки закрылись, вьетнамцы притихли. Один лишь монгол, самый старший по возрасту, смотрел с удовольствием на наказание. Хотя бормотал про себя: «Гай дайрах» («случилась беда» – *монг.*), лицо его плоское не выражало ни тени сомненья, что все идет правильно. И даже когда увели Лумузину и стало вдруг грустно всем людям на кухне, монгол, хоть и староста, живо подпрыгнул, ударил сапог о сапог и запел.

Именно в эту минуту Полина проснулась в своем изоляторе, очарованная только что случившимся с нею сновидением. И в эту минуту закончился дождь, и нежно запахло лиловой сиренью. В восемь часов утра, когда Полину уже перевезли на третий этаж в гинекологию, а африканского студента Лумузину держали в камере предварительного заключения на жестком и грязном казенном топчане, перед входом в милицию остановился белый «Кадиллак». У сотрудников отделения зрачки в водянистых глазах их забегали.

– Ну, влипли, ребята. А я говорил! Зачем черножопого взяли без спросу?

Дверь «Кадиллака» отворилась, и вылез оттуда огромный мужик (поскольку с усами был и с бородой!), а так, по одежде, – нарядная баба. На усатом, огромного роста, с большим женским задом мужике была надета длинная, очень пестрая, вся сплошь расшитая золотом и нанизанными поверх золота драгоценными камнями рубаха, поверх этой яркой рубахи – другая, и тоже вся в золоте и серебре, поверх серебра – что-то очень пушистое, на чем были разные бусы и перья. Подобные этим, и бусы, и перья, а также ракушки со дна океана, а кроме того, зубы разных животных (а может, людей, кто их там разберет!) украсили сложный убор человека, вздымающийся на его голове. Рядом с бородатым, самым главным по своему виду и повадкам дипломатом, суетились трое других – помельче, одетых попроще, но тоже и в бусах, и в перьях. Все те, кому так повезло в этот час, в простых ихних куртках, в простых сапогах, спешить на заводы, а также на фабрики, и те, кто, посматривая на часы, бочком шли с портфелями, в синих болоньях, чтобы, ни минуты не медля без дела, заполнить собою все эти места, где прячется интеллигенция ловко, – все эти прохожие до самой смерти так и не забыли чудесного зрелища. И детям своим рассказали, и внукам. Поскольку такое ведь не забывается. Как запуск кого-нибудь в космос – подальше, как танец на льду Белоусовой вместе с партнером и мужем ее Протопоповым.

Красиво одетый иностранный дипломат важно вошел в обшарпанное милицейское помещение, где дым от плохих сигарет затруднял и рост, и здоровье домашних растений. Герань была чахлая, в мелких бутонах.

– Касара мату! – громко, с явной угрозой сказал дипломат. – Масалака ибу!

Сотрудники переглянулись.

– Товарищ, вы тут не ругайтесь. Вы не у себя, – ответил полковник Евгений Гаврилыч. – Мы тут разбираемся.

Один из приближенных кенийского дипломата негромко, прямо в богато украшенное и разрисованное ухо своего начальника, перевел слова скромного Евгения Гаврилыча.

– Мабута кату! – разозлился начальник и поднял тяжелую руку, всю в кольцах. – Кату масара!

– Ну, чтоб «мусорами» нас тут обзывать... ну, это уж слишком! – сквозь зубы обиделся умный полковник.

– Свободная и независимая Республика Кения предлагает вам немедленно отпустить в свободу задержавшего у вас гражданина нашей республики господина Лумузина Абрака, – сказал переводчик. – И приносить республике Кения свои извинения в письменных видах.

Евгений Гаврилович весь покраснел.

– По нашим, ну, сведениям, господин Лумузин Абраков собирался задушить свою невесту, товарища Березу Клавдию Петровну, находящуюся, так сказать, в интересном положении...

– Калита мабука сата чу мата! – кивнул дипломат.

– Мы знаем об этом вопросе, – сказал переводчик.

– Марата кули? – спросил дипломат.

– Чего вы хотите? – сказал переводчик.

– Чего мы хотим? Как чего? – И Гаврилыч щелчком сбил с герани скопившийся пепел. – Пускай, значит, женится. Чтоб все законно. Ребеночек чтобы с отцом рос, как положено, значит.

– Ату масата, – погрузнел дипломат. – Ату масата ра ибу масата.

– Мы просим свидания. Прямо на месте. – Лицо переводчика переменялось: угроза блеснула на нем.

– Свидания? Ладно. Веди его, Вася, – решил полковник.

Вася, сержант младший Теркин Василь Александрыч, в наручниках вывел в приемную Луиса, студента из Кении, столь похудевшего, что, если бы он вдруг себя захотел, как и пред-

лагали ему, в руки взять, то брать в эти руки почти было нечего. Зрочки у студента блуждали и прыгали.

Дипломат и представитель свободной Республики Кения поклонился выведенному из застенка Лумузину красивым и плавным движением перьев на черноволосой своей голове.

– Ата мабата а сату! – вскричал Лумузин. – Ата ху! Раса та ма кхо чу саха!

– Господи Абрака отказывается приносить свои извинения, – сказал переводчик услужливо, – поскольку не видит за своими поступками состава преступления.

– Ты просто скажи: ты согласен жениться? – спросил его грустно полковник Гаврилыч.

Дипломат что-то тихо объяснял Луису. Тот мрачно кивал. И вдруг вновь разъярился:

– Пум-пум махата! Пум-пум чу ибу! Ибу чу пум-пум!

Переводчик попросил Евгения Гаврилыча подождать, пока недоразумение уляжется, и тоже включился в беседу.

– Ма пу! Ма пу казата! – закричал дипломат и, поднеся к раскрытому рту огромную мясистую ладонь, куснул ее. – Ибу каса та?

По всей атмосфере сержанты с полковником решили, что дело дойдет до войны. Однако студент Лумузин вдруг погас. Широкие плечи его опустились.

– Во избежание мирового конфликта, – с облегчением заговорил переводчик, – господин Лумузин Абрака согласен заключить супружеский контракт с гражданкой Березой. Но жить с нею он не согласен.

– Да нам-то что? Пусть он с кем хочет живет, – вздохнул полной грудью Евгений Гаврилыч. – Но только уж пусть уберется подальше. Кого он там, это, «ибу матапа» – нам, в общем, плевать. Его личное дело.

– Нам, главное, чтобы войны не случилось, – вмешался Василь Александрович Теркин. – Вот вы небось думаете, что, если русский, так он очень хочет войны. Вы у мамки спросите моей, у жены, если скажет, хотим мы войны или нет не хотим?

Он чуть было на пол не сплюнул в сердцах, но в самый последний момент удержался и вежливо сплюнул в цветочный горшок.

Через неделю после этих событий бледная и измученная Полина пришла в стеклянный корпус Московского государственного университета, где ей надлежало подписать кучу бумаг для оформления академического отпуска. По лестнице, ведущей с низкого первого этажа в вестибюль, спускалась изменившаяся в лучшую сторону, расцветшая, словно цветок луговой, студентка Береза, по внешнему виду которой никак нельзя было сказать, что Клава кого-нибудь ждет, а ребенка – тем более.

Заметив Полину, Клавдия быстро и возбужденно заговорила со своей всегдашней волосатой подругой, имени которой (в отместку ей, низменной!) не сообщаем.

– Вчера выбирали кольцо. Я ему говорю, что самые чистые в мире бриллианты добыты у нас тут, в Якутии. А он как упрется: «Нет, я, – говорит, – этим вашим, якутам, не очень-то и доверяю. Вот так. Уж я насмотрелся на них в общежитии! Пойдем, – говорит, – лучше сразу в «Березку!»» – Пошли мы в «Березку». Дешевка одна! Не знаем что делать. Он прямо извелся.

Полина замерла на ступеньке, боясь разрыдаться и этим унизиться.

– Нас мать заждалась. Ну, звонит и звонит! Скорей, говорит, прилетайте! У нас тут и свадьбу сыграем, как люди. Так я говорю: «Лузя, надо спешить. Хозяйство, два дома, а мы тут застряли. За всем, – говорю, – самим нужно следить, а то, – говорю, – разворуют все в доме».

– А он что? – спросила подруга.

– Что – он? Он мне говорит: «Там ведь слуги кругом. По струночке ходят. Ты не беспокойся». А я просто сон потеряла, пойми! В одном доме – сто комнат. Это в большом. Другой дом, поменьше, так в нем – сорок шесть. Прибрать, приготовить... И гости все время. Зимой-

то в Париж. Отец нас уж очень зовет. Я сказала: «Сначала – хозяйство, потом баловство. Париж подождет, дай ты мне разобраться».

– А он что?

– Ну, что? Согласился, конечно.

– Наверное, не знает уж как угодить, – сказала подруга и лстиво хихикнула.

– Понятно, не знает. Всю зацеловал...

И, так посмотрев, словно не замечает усталой Полины, Береза раскрыла большой жадный рот, чтобы им засмеяться.

Полина села в вестибюле на скамеечку, ноги подкашивались. Она вспомнила ночь на Ленинских горах, и голос невидимого соловья, и лодку, которая вдруг подняла свои осторожные весла, но солнце взошло в этот миг, и два темных весла блеснули над сонной водой светлым золотом... Ей очень хотелось заплакать, но сон, пришедший неделю назад в невеселой больнице, вдруг словно вернулся и высушил слезы.

– Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! – сказал мягкий голос. – Моя голова вся покрыта росой...

Прошло больше года. Не будучи достаточно целеустремленной и оттого так и не вернувшись обратно в университет, Полина устроилась работать в библиотеку одного из НИИ, места весьма засекреченного, хотя и расположенного неподалеку от станции метро «Академическая», и по улице, ведущей от метро к засекреченному НИИ, все время сновали какие-то люди, и, может быть, были среди них и шпионы, но миловал бог: не столкнулись нос к носу. Она похорошела еще больше, еще пушистее и длиннее стали ее светлые волосы, прибавилось яркого света в глазах, лицо погрузнело, но еле заметно. Изредка только маленькая морщинка набегала на ее лоб, и по легкому ее прикосновению к коже можно было догадаться, что в жизни Полины все очень непросто. Во-первых, был дома огромный скандал, в конце концов папа собрал чемодан, ушел к этой женщине, Ольге Иванне, работавшей с ним в том же самом оркестре. И мать так страдала, что даже Полина, привыкшая к маминой вечной печали, не знала, что делать и чем ей помочь. Однажды, под утро, совсем обезумев, мать даже решила вскрыть вены и вскрыла. Но только слегка и почти что без крови. Однако сама испугалась так сильно, что вся, как была – в бигуди, и в халате, и с венами этими, только что вскрытыми, – взялась стучать в стену соседке Тамаре, усатой и властной, давно одинокой, а та уж и вызвала «Скорую».

Эта неудавшаяся попытка самоубийства произвела на Полину самое что ни на есть тяжелое впечатление, и несколько недель она старалась не оставлять маму дома одну, а если и уходила куда-то, то звонила ей каждые пятнадцать минут из телефона-автомата.

Лиц мужского пола, привлеченных красотой Полины, и даже не столько ее красотой, сколько непередаваемо милым и добрым выражением лица, увы, становилось все больше и больше. В метро не давали проходу, в трамвае пытались притиснуться так, что их, этих, к ней столь беспардонно притиснутых, вскоре пришлось научиться толкать локтем в бок. Полина, конечно, краснела, толкала, но ласковая, извиняющаяся улыбка вспыхивала на ее лице, и тут сладострастники сразу терялись: толкать-то толкает, а может, ей нравится?

Потом появился писатель. Он был настоящим, известным писателем, хотя, к сожалению, для детства и юношества. Писатель заметил Полину в театре, хотя он сидел в самом первом ряду, а наша Полина почти на галерке. Спектакль был модный и из Ленинграда. В талантливом Лебедеве Холстомер, толстовская лошадь из одноименной трагической повести, просто воскрес. В антракте Полина купила поесть, поскольку пришла сюда прямо с работы. Держа в своей правой руке два любимых – «корзиночку» вместе с «безе» – и боясь, что выронит их, она вся растерялась: в другой руке жарко дымилось какао. Писатель по имени Яков Сергеев приблизился сбоку и просто спросил:

– Позвольте, я вам помогу?

Краснея, она протянула ему «корзиночку» вместе с «безе», и он, взявши пирожные в руки, сказал ей:

– Вы ешьте.

И острыми, словно у волка, глазами, когда тот, зарывшись по горло в сугроб, из чащи следит за своею добычей, смотрел, как она, торопясь от волнения, ест все это прямо из рук. И как губы краснеют от крема.

У писателя Якова Сергеева были жена и двое сыновей. Художественные произведения, вышедшие из-под его пера и завоевавшие любовь детей и юношества, отличались изобретательностью и целомудрием. К тому же смогли обеспечить семье квартиру в минуте от «Аэропорта» (в писательском доме с консьержкой и лоджией!), прекрасную дачу – хоть не в Переделкино, но близко, буквально пешком через рельсы, – и главное (это вдобавок к квартире!) еще мастерскую у «Красных ворот». В этой мастерской и сосредоточивалась основная – жаркая, тайная и вдохновенная – жизнь мастера. Для детства и юношества можно было писать где угодно, хоть в электричке, хоть в ресторане ЦДЛ, но то, что Сергеев писал в мастерской, должно было вызреть так, как вызревает какой-нибудь плод, драгоценный и редкий, посаженный в оранжерее, где утром его навещает садовник и смотрит, насколько он в весе прибавил за сутки. Вот так вот и Яков Сергеев. В своей мастерской он работал над прозой, которая ниспровергала Набокова с его этой вялой и пресной Лолитой. Какая Лолита! При чем здесь Лолита! Младенческий лепет для славы и денег. А главное, чтобы ему не мешали везде ловить бабочек. Яков Сергеев писал на века. Он не торопился и денег не ждал. Со славой сложнее, но бог с ней, со славой! Действие романа разворачивалось одновременно в четырех столетиях, и все это в письмах. В нем были Ромео с Джульеттой, но звали их очень загадочно: Миша и Шурка. Ромео был Шуркой, а Миша – Джульеттой. И Миша, живущая здесь и сейчас, призналась однажды любимому Шурке, который остался в семнадцатом веке, что звали ее по-людски, то есть Машей, и Маша считала себя пацаном, пока рок судьбы не столкнул ее с Шуркой. Поэтому долго звала себя Мишей. Однако не в этом все дело, не в этом! События войн, революций и казней совсем было их разлучили навеки. Но Миша и Шурка встречаются там, где нет ни пространства, ни времени даже. Их соединяет любовь.

Перед тем как отправиться в театр на спектакль, Яков Сергеев закончил как раз ту главу, где и происходит счастливая встреча. У Шурки совсем поседели подмышки, а все остальное осталось как прежде. Вот эта деталь с серебристой подмышкой была настоящим словесным шедевром. Ее не забудут. На мраморе высек.

В театр он вошел слегка взвинченным даже от этого – внезапной и редкой удачи. Не то, чтобы он был красив, но породист, а это важнее любой красоты. И голос его был хорош: сильный, влажный.

– Как, вкусно? – шепнул он смущенной Полине. – Хотите эклер? Здесь эклеры чудесные.

– Нет, что вы! Спасибо, совсем не хочу, – сказала Полина.

«Сама как эклер!» – так подумал Сергеев, а вслух произнес:

– Постановка хорошая, но очень затянуто. Вы не согласны?

– А мне очень нравится, мне интересно, – сказала Полина. – Играют прекрасно.

– Вы знаете, – и артистичный Сергеев слегка наклонился к ее волосам, – мы в жизни играем еще даже лучше. А званий – увы! – не дают и не хлопают.

– Мы разве играем? – спросила Полина. – Мы просто живем.

Писатель Яков Сергеев почувствовал, что от запаха ее волос у него начала кружиться голова и он больше не в состоянии поддерживать этот сложный, можно даже сказать, философский спор.

– Ну, это кто как. Я сказал обобщенно, а в целом вы правы. Конечно, вы правы.

Он слегка опустил глаза и увидел нежную ложбинку между ее грудями – такую тропинку лесную, всю в ландышах, такую прелестную тень на траве, где крапинки солнца, став частью тела, нашли себя в образе милых веснушек.

«Беда! – так подумал известный писатель. – И так сколько дел, а теперь еще это!»

Она была женщиной, с которой нельзя было ни ходить в театр, ни ездить в трамвае, в такси, на автобусе. Нельзя с такой даже сидеть за столом и кушать блины без икры и с икрой. Нельзя с ней смотреть телевизор, читать, нельзя удить рыбу, пропалывать грядки. С ней можно одно: спать в кровати, в лесу, в квартире приятеля, на сеновале, в какой-то заброшенной дикой избе, на пляже в Учкеевке (под Севастополем!), на пляже в Пицунде, на жарких камнях – пусть тело болит от их прикосновений! – с ней можно одно: очень близко и – спать. Держать ее в крепких, надежных объятьях. А все остальное – мученье, кошмар и пытка, которой страшней не бывает.

Разумеется, ничего этого вслух писатель Сергеев не произнес. Вслух он сообщил просто-душной Полине, что один из его романов для детства и юношества только что экранизировали и фильм получился такой, что сам он, Сергеев, от смеха рыдал на прогоне. Вся группа рыдала.

– Хотите, афишечку вам покажу? – спросил он Полину. – И все фотографии? Куча смешных.

– Они у вас, что, здесь, с собой? – спросила она и опять покраснела.

Во рту у него пересохло.

– С собой? Нет, все, к сожалению, дома. Вернее: в моей мастерской. Это тут, за углом. Пойдемте скорее, я вам покажу.

– А как же спектакль?

– Да что вам спектакль? И так все понятно! Ну, бедная лошадь, хозяин-подлец. В конце обязательно кто-то раскается. Не шибко был разнообразен старик.

Она посмотрела большими глазами.

– Вы это о ком? О Толстом или...

– Я-то? Да, я о Толстом! О Толстом говорю! – запальчиво крикнул писатель Сергеев. – Привыкли: «Толстой да Толстой!» Что Толстой? Уж он холстомеров-то сотни загнал! До смерти причем! Софь Андревну до смерти!

Полина вдруг вся как-то съежилась.

– Но... но он мой любимый писатель. И он...

Сергеев опомнился.

– Кто говорит! Я сам обожаю! Да, гений! Да, глыба матерая, вот что! Таких, как он, глыб, да матерых к тому же, с огнем не сыскать! Вы только смотрите: ведь что ни страница, то исповедь, так? Иль проповедь, так ведь? Нет, мощный старик был, духовный старик!

Сергеев почти задыхался.

– Пойдемте, я карточки вам покажу. Поболтаем. Пойдемте?

– Пойдемте, – сказала она.

На сцене как раз началось самое интересное, но ни Полине, кое-как застегнувшей шубку, ни статному писателю Сергееву, поднявшему воротник болгарской дубленки (поскольку, когда ты поднял воротник, то можно подумать, что ты из Брюсселя, а как опустил воротник, так москвич!), им было теперь уже не до театра. Они торопились сквозь снег и дышали так быстро и бурно, как сам Холстомер, вернее сказать: так, как два Холстомера.

Сергеев остановил такси, домчались в минуту. Скомканных бумажных денег, которые получил водитель, хватило бы сразу на десять поездок, но раз пассажир решил переплатить, водитель не стал возражать или спорить.

В мастерской царил тот приятный беспорядок, который говорит о неустанной работе души и творческого воображения. Несколько чашек недопитого потускневшего кофе, несколько смятых сигарет в пепельнице, упавшая на пол с дивана подушка, корзинка, в которой

лежали три яблока... Полина подошла к вешалке и остановилась. Он бесшумно приблизился сзади и обнял ее. Полина услышала, как сквозь дубленку колотится тело большого писателя.

– С ума я сойду, – сказал хрипло Сергеев.

– Не нужно, – шепнула Полина. – Зачем же?

Сергеев развернул ее к себе и горящими, несмотря на мороз, с которого они только что вошли в эту комнату, губами впился в ее полураскрытые губы.

– О, о! – закричал знаменитый писатель. – О, о!

Полине вдруг стало смешно: точно так же на сцене в спектакле кричал Холстомер.

С этого вечера началась новая, непривычная жизнь. Нужно было обманывать маму, которая, как тень, слонялась из комнаты в комнату, посматривая то на телефон, то на снег за окном, который валил непрестанно и жадно, как будто хотел навсегда разлучить своей плененой, своей неустанностью всех тех, кто на небе, со всеми, кто здесь, – нужно было почти каждый вечер обманывать эту жалкую брошенную маму, придумывать то одно, то другое, чтобы уйти хотя бы ненадолго, добраться на еле ползущем троллейбусе к нему в мастерскую и там вновь попасть во власть его губ, его рук, его тела.

За свою творческую жизнь писатель Яков Сергеев привык либо к очень сложным, либо к совсем простым отношениям с женщинами. Очень сложных отношений было гораздо меньше, чем совсем простых, и он даже мысленно старался не возвращаться к тем временам, когда ему приходилось переживать эти очень сложные отношения. Там было сумбурно, и нервно, и зыбко, хотя иногда и прекрасно до боли. В совсем простых отношениях не было ничего особенно прекрасного, зато была твердость, покой и удобство. Те женщины, которые заходили в его мастерскую и оставались там на пару часов, снимали колготки и белые лифчики, ложились в кровать и вставали с кровати, потом говорили: «Ну, ладно, пока», – эти женщины не оставляли ни рубцов на сердце, ни ссадин внутри неразборчивой памяти, ни боли, ни грусти. Вообще: ничего. Туман над простой подмосковной рекою гораздо весомее и ощутимей, чем след этих женщин в судьбе беллетриста. К тому же была и жена Валентиночка, пушистая, как маргаритка, с большими, слегка розоватыми веками. Женились они по любви, без расчета, совсем молодыми, веселыми, добрыми, а дальше, когда вся любовь миновала, расчет вступил сразу в права, как наследник, дождавшийся честно родительской смерти. Валентиночка расплнела с годами и хотя все еще была похожа на маргаритку, но лишь на такую, которая завтра уронит свои лепестки и бесстыдно останется голой стоять, пока ветер ее не сомнет и не выбросит вовсе. Увы! Постаревший, увядший цветочек, она не успела понять одного: прошла их весна, прошла страсть, прошла молодость, и, даже скупив у фарцовщицы Дорки все лучшие блузочки, шляпки, костюмчики, она не вернет себе прежнего Якова. Ну, выкрасит волосы в цвет баклажана, ну, даже приклеит чужие ресницы – и что? Ничего. Только зря суетилась.

Писатель Сергеев жене не перечил. Разыгрывать нежность уже не хотел, но мучить ее тоже было не нужно. Поэтому он, уходя, целовал и этот начесанный красный затылок, и воротничок на кримпленовой кофте (до губ и до щек дело не доходило!), и даже звонил ей почти каждый день, когда улетал по делам в другой город. К тому же он сильно любил сыновей. И Женьку, и Петьку. Им было семнадцать и двадцать четыре. Обоих он спас от служения в армии. Женюра прошел по разделу психозов, а Петька – по очень большой близорукости.

Короче: семья очень даже была, и с этой семьей нужно было считаться. И то, что писатель в разгаре работы, которой еще предстояло подняться в надмирную высь и оставить свой след, немногим бледней, чем Петрарка и Чехов, сейчас просто бился, как птица в сети, поскольку любовь ему все прожигала: то низ живота, а то верх живота, сводила то руки, то ноги. Короче: вот то, что сейчас он так влипнет, – увы! – совсем не входило в расчеты Сергеева. Он был и – пропал. Он себя потерял. Вы знаете, что это значит? А вот что: представьте себе, скажем, рыбу. Она жила в водоеме, рожала детишек, и вдруг ее ловят, бросают в ведро, которое пахнет морожом и смертью, и пьяный, довольный собой рыболов идет по промерзшей дороге к поселку. Что

думает рыба? Что это все сон, и можно вернуться к себе, в свою реку, что просто она заплывла далеко, наелась пахучей травы под корягой, теперь ей мерещится это ведро, остатки воды, рыболов, запах смерти, а утром проспится она и опять: свобода, детишки, родимые волны...

Вот так и Сергеев. Сначала он был и счастлив, и преобразился до крайности. Он сбросил лет двадцать. Походка его опять стала прежней, упругой и сильной. Но если на этом бы остановиться! Так нет же. Его захватила любовь, он мучился, думал, терзался, не спал. Стал очень ревнивым, смотрел на часы, писал куда меньше, срывался на близких. Мечтал об одном: только чтобы пришла. И чтобы лежала с ним рядом, в кровати.

И все это – с самого первого дня! С того театрального зимнего вечера. Она оказалась настолько желанной, настолько любая частица ее покорного тела ждала его ласки, настолько светлы были эти глаза, когда она вдруг открывала их быстро, едва он касался губами ресниц, настолько полна была влаги и меда, и теплого, пенного – боже, чего? – ну, да, молока, того самого млека, настолько проста, безотказна, скромна, что Яков Сергеев внезапно заснул. Чего никогда не случалось с ним прежде. Он и не почувствовал даже того, как женщина эта неслышно ушла на кухню, оделась, умылась и села за стол с тремя чуть подгнившими зимними яблоками.

На следующий день он ждал ее в шесть часов вечера у подъезда НИИ, но не в такси, а в собственном «жигуле» бежевого цвета, и перчатки у него тоже были бежевыми, дутыми, так что каждый палец размером казался почти что с сардельку.

– Поедем, покормим тебя! – сказал он, целуя ее прямо в губы.

Ей было неловко обращаться к нему на «ты», и она старалась избегать местоимений, но в ресторане «Прага», где к ним сразу же подскочил знакомый Сергееву официант и голосом, пахнущим семгой, сказал: «Накрыто, прошу», она вдруг осмелела и руку продела под локоть прозаику.

Брошенная музыкальным мужем мама Полины через месяц все-таки докопалась до правды и горько заплакала. Такая судьба была хуже, чем Африка. И, кроме того: как представить себе, что девочка, детка, ее плоть и кровь, того и гляди уведет у несчастной, неведомой женщины мужа родного, как и у нее увели подлеца, четвертую скрипку в паршивом оркестре (что было неправдой: Полинин отец работал давно концертмейстером!). Как можно представить себе, что ребенок, жалеющий любую букашку на свете, себя запятнает таким вот кровавым (а как же иначе назвать?) преступлением? Да это же было почти то же самое, что взять и одной, босиком, в легкой блузке, метельною ночью по льду перейти большую, совсем незнакомую реку!

С другой стороны, лучше уж перейти и реку по льду, и метельною ночью, чем бегать к чужому совсем человеку униженно и бесприютно, как песик. В конце концов – что же? Поплачет жена, а там, глядишь, время пройдет и забудет. Другие вон вены вскрывают себе, а кто им спасибо сказал? А никто. Пошла в воскресенье жакет покупать, примерила: и ничего не подходит. Был пятидесятый размер, а теперь? Наверное, тридцать восьмой – в лучшем случае. Теперь прямиком в «Детский мир» и в отдел для девочек школьного возраста. Так-то!

Быка нужно брать за рога и за все, за что только придется. Попались рога, и хватай за рога! А хвост попадется, хватайся за хвост! Чтоб только не вырвался и не брыкался.

Полина по своей врожденной деликатности, черте очень вредной, ненужной и глупой, не только не спрашивала у писателя Сергеева, есть ли у него какие-то планы на их общее будущее, но и более того: старалась переводить разговор на другую тему, когда он несколько раз, расслабившись в ее объятьях, начинал вдруг мечтать, насколько прекрасно бы было сейчас поехать вдвоем на курорт, например. Да хоть бы в Пицунду, хоть даже и в Ялту. А то и в Европу: в Болгарию, в Польшу.

– Ну, что будем летом-то делать, скажи? – тревожно шептал беллетрист, зарываясь лицом в ее легкие, светлые волосы. – Я, значит, *ее* потащу отдыхать, а ты что, на дачу поедешь к себе?

– Поеду на дачу, – кивала Полина.

– И как ты там время проводишь, на даче? – мрачнел он всем крупным влюбленным лицом.

– Там сад, огород. Поливаю, пою. К тому же там много друзей. Мы росли там каждое лето все вместе, играли.

– Ну, это давно было! А что сейчас?

– Сейчас мы играем в пинг-понг, в волейбол, гуляем. Но это совсем уже вечером, ночью...

А днем я читаю, варенье варю...

– Нет, ты подожди! Про варенье потом! К тебе ведь там клеются? Ведь пристают?

– Конечно, – сказала она, помолчав.

– И что? – Он стал черным, как уголь.

– Но я же с тобой... – прошептала она.

Писатель вскочил и рванулся на кухню. Налил себе там коньяку. Проглотил почти половину лимона. Вернулся.

– Я против, Полина! Я против того, чтоб ты проводила свой отпуск на даче! Решительно против!

– А где же тогда мне его проводить?

Налившимися кровью глазами Яков Сергеев посмотрел на эту молодую женщину, разворотившую ему жизнь, как будто бы жизнь была прибранным домом, и вдруг поздно ночью ворвались чекисты, забрали хозяев, вспороли перины, и пух полетел, и детишки рыдают. На даче или не на даче, но к ней все равно будут все приставать. Даже если она пойдет выносить помойное ведро, обвязав голову рваным платком и набросив на свои круглые плечи простой заячий тулупчик, и то к ней привяжется кто-то похабный. Такая ужасная сила в ней есть. А может быть, слабость, но это неважно. В его голове закружилось такое, что даже в роман не могло пригодиться. Полину бы лучше всего запереть. Да хоть бы и здесь, в мастерской. Здесь тепло. Кровать есть, стол, стулья, стеллаж. И книги ей можно вполне обновлять. Пускай прочтет эти, других принесу. Кормить ее вкусно: бананы, орешки. Пошел утром в «Прагу», купил беляшей, потом взял гуляш на втором этаже. Потом на Калининский. Тортик «Арахис», конфеток, каких посвежей. Что еще? Чего еще нужно? Гулять? Ну, гулять. Стемнеет, и выйдем вдвоем, погуляем. В кино тоже можно сходить, но – со мной. Со мной и без всяких, без этих: буфетов. Поскольку в буфетах-то главный и вред. Стоят там чернявые, пьют глазищи. Своих заведите и пяльтесь тогда! А то понаехали к нам с Эквадора!

Трудно сказать, почему писателю Сергееву вдруг так отвратителен стал Эквадор. Чернявых и в Персии сколько угодно. Да их и в Японии тоже полно. И вот Кишинев еще есть с Черновцами. Вообще, если пристально все осмотреть, так этих чернявых, как и белокурых, везде развелось до того, что ноге ступить уже некуда. Ступишь, а там какой-нибудь очень уж прыткий сидит, усы гребешком расчесал, зубы вычистил. Нет, выход один: запереть и стеречь. И всем хорошо, все довольны и счастливы.

Лето между тем приближалось, и Валентиночка, скупившая у фарцовщицы Доры все, что та успела приобрести у моряков и летчиков, стюардесс, балерин, руководителей разных ансамблей, клоунов, циркачей, скрипачей, у жен пианистов и их домработниц, – нарядная, как Первомай, Валентиночка взялась совершенно открыто мечтать о Карловых Варах, Пицунде и Пярну.

– И что тебе Пярну? Зачем тебе Пярну? Куда тебе в Пярну? Вот ты объясни! – не выдержал как-то писатель за ужином.

– Но, Яша, там, в Пярну, живет сам Самойлов! А море какое! Продукты! Песок!

– Вот пусть твой Самойлов там и наслаждается! – не выдержал он. – А мне нужно работать!

Валентиночка заморгала глазами и заплакала. Яков Сергеев посмотрел на ее склоненную голову с почерневшим среди красновато-лиловых прядей пробором, на ее маленькие руки с суховатой, старческой уже кожей, кое-как натянутой на слабые косточки, и ему стало жаль ее, как молодому удалыцу-сыну, живущему в городе, жаль своей мамы, весь век скоротавшей в деревне за прялкой.

– Да ладно тебе! Хочешь в Пярну? Поедем! Опять эти взбитые сливки лакать? Меня потом год от них будет тошнить!

– Самойлова вон не тошнит...

– Он привык! – не выдержал резкий писатель Сергеев. – На сливках стишки хорошо сочинять, а ты вот попробуй роман! Фиг напишешь!

Одновременно с этими событиями у мамы Полины зародился план: нужно самой познакомиться с этим, так сказать, «другом» дочери и прощупать, есть ли у него хоть сколько-нибудь серьезные виды на доверившуюся ему невинную девушку. То, что мама совершенно искренно считала Полину невинной, никак не противоречило реальности, поскольку невинность – не факт биографии, а просто врожденное свойство натуры. Полина была и добра, и невинна, а то, что судьба с нею так обошлась, так вот у судьбы и спросите при случае.

– Я думаю, Попелька, – сказала однажды мама, тщетно пытаясь поднять съехавшую петлю на только что купленных утром колготках. Колготка ей сопротивлялась. – Я думаю: раз твой отец не помощник, – и мама скривила брезгливые губы, – давай пригласим, ну, *его*, нам помочь: на даче баллон нужно газовый вставить. А я не умею. Там нужно крутить. Всегда твой отец это делал.

– Но, мама! – Полина схватилась за щеки. – Ты что! Какие баллоны, какой еще газ! Нам сторож поможет. При чем же здесь *он*?

– Плевать мне на газ. Но я – мать твоя, так? – И мама расправила сильные плечи. – Имею я право, поскольку я мать, хотя бы увидеть *его* или нет? В конце концов, может быть, он негодяй? А может быть, он сексуальный маньяк? А может быть, рецидивист-уголовник? Любой может взять и сказать: «Я писатель». Буквально любой. И поверят, учти. У нас люди очень доверчивы, слишком. Иначе бы не было столько писателей!

– Но я не могу к нам его привести. Да он не пойдет. Он ведь *нас с ним* скрывает.

Полина была вся пунцовой, как роза. А может быть, даже пунцовой ее.

– Тогда пригласи его просто на дачу. Скажи: мол, природа, ну, поле, там, лес. Не все в Переделкине зад протирать, у нас ведь не хуже места. Ведь не хуже?

Полина смежила ресницы.

– Зачем тебе это? Ведь он не жених.

– А кто он тогда? – Мама вдруг взорвалась. – И что ты к нему каждый вечер бежишь? Он, что, прости господи, маг, что ль, какой? Ведь стыдно глядеть на все эти затеи!

– Какие затеи? Что есть, то и есть.

– Короче: такая моя к тебе просьба. Такой мой тебе материнский приказ. А то я сама вам устройю «свиданье»! Ведь надо же: с матерью так не считаться! В конце концов, мать – это вечная ценность! А все остальное – невечные ценности! И ставку на эти невечные ценности тебе не советую, Попелька, делать! Хотя бы на нашем семейном примере могла б догадаться, что значит мужчина! Он враг и предатель, а больше никто! Его разорвать и в помойку! В помойку! И воду спустить! Чтобы больше не всплыл!

Полина взглянула на мать и задумалась. Была ведь когда-то нормальная женщина.

Вечером она с запинкой пригласила своего знаменитого любовника приехать к ним с мамой на дачу: там все расцвело. Любовник ее знаменитый задумался. Засвечиваться он не

хотел, это правда. С другой стороны, заглянуть и понять, что это за дача, куда она рвется, какие вокруг там гуляют парнишки, в какие они волейболы играют...

– Приеду! – сказал он, целуя ей шею.

Договорились на пятницу. В выходные нельзя: Валентиночка удивится. Писатель решил повести себя так, как будто он старший товарищ и друг. Приехал по дружбе, был неподалеку.

В ночь с четверга на пятницу Полининой маме приснилось такое, что мама стремглав побежала к соседке, все той же усатой и властной Тамаре. Тамара была толкователем снов.

– Я вижу себя совершенно в воде. Ну, в море, как будто.

Тамара курила вполне равнодушно и дым выпускала из губ в виде шариков.

– Я ползаю будто по дну и ищу в песке, там, на дне, что-то вроде ракушек. И вроде съедобных.

– Ракушки? А формы какой?

– Большие такие и продолговатые.

– Так-так, понимаю... Ну, что замолчала?

– Вдруг вижу: скала.

– А оттенок какой?

– Оттенок какой? У кого?

– У скалы! Ну, не у меня же, наверное, господи!

Тамара была грубиянкой и часто срывала на людях свой скверный характер.

– Ну, синий почти. Хотя нет! Не совсем. Там черный присутствовал. Черного больше.

– А форма?

– Что форма? Скала как скала.

– Вот каждое слово клещами тащу! Нет, Фрейд бы мне не позавидовал!

– Фрейд? Так он же... – И мама понизила голос: – Он разве же не запрещен, этот Фрейд?

– Мне не запрещен. Продолжай, говори.

– А близко от этой скалы лежит птица. Такая вот тоже: синюшная, с черным. Глаза открыты.

– Пернатая, значит, – сказала Тамара.

Полинина мама сглотнула ком в горле.

– Я вроде подумала: «мертвая птичка»...

– Размером какая?

– Кто?

– Птичка! Не я же!

– Размером? Ну, с лошадь.

– Как с лошадь?

– Да, с лошадь. А может, и больше. Огромный зверюга! Лежит и не дышит.

– А ты все в воде?

– Я в воде. Но я отползаю по дну, чтобы выйти скорее на берег и чтоб убежать. И вижу вдруг: птица-то эта живая! Летит надо мной, аж крылом задевает!

– Какого размера крыло?

– Я не помню. Но очень уж страшно!

– А вы все хотите, чтоб вам показали «Вокзал на двоих»? – Тамара откинулась в пышных подушках. – Послушал бы Фрейд, он бы сразу описался!

У мамы пропал скудный дар ее речи. Представив себе, как описался Фрейд, она замолчала и вся побелела.

– Тут я вылезая, – шепнула она, – а там одни скалы. Ни берега нет, ничего. Только скалы.

– А эти, ракушки твои? Где они?

– Не помню. Наверное, обронила...

Тамара рывком погасила огонь, а дым облизнула с губы и задумалась.

– Забавный сон, – прошептала она. – Готовься, моя дорогая, готовься...

– К чему мне готовиться, Томочка, а?

– К событиям, вот что. К большим испытаниям. Ракушки твои – это проще простого. Большой сексуальный желаемый символ. Опять же вода. Ты по горло в воде. Ну, тут комментировать нечего, ясно... А вот эта птица... Я думаю так: прямая опасность и есть эта птица. Писатель ваш этот, любовник. А кто же?

Вернувшись домой и заглянув в комнату дочери, чтобы убедиться, что бедняжка ее крепко спит, мама сказала себе:

– Еще мы посмотрим, кому тут опасность! Ишь, мертвым прикинулся! Птичка какая...

Утром той же самой пятницы, которая, как на грех, оказалась тринадцатым числом, Яков Сергеев, которого часто узнавали по телефону незнакомые люди, поскольку он выступал по радио, читая отрывки из своих произведений, позвонил в библиотеку, где работала Полина.

– Алферову вам? Подойдите, Полина!

– Ну, что? Я заеду тогда к четырем? – спросил он, однако невесело как-то.

Полина задумалась.

– Яков, не надо... Я вижу, что ты ведь не хочешь. Не надо...

– Хочу – не хочу, мы решили. Так я тогда, может быть, сыру возьму? Икорку купил. Тут заказ у нас был...

Писатель Сергеев звучал очень мрачно.

Приехали ровно к шести. Большой белый стол был накрыт на террасе, и магнитофон пел на полную мощь. Полина мама сидела на стуле с таким молчаливым решительным видом, как будто слова этой ласковой песни ее и не трогали вовсе.

– «Дурманом сладким веяло, когда цвели сады...» – Сам голос на пленке был сладок: наверное, хорошая, милая женщина пела.

– Романс, – сказал мрачно писатель Сергеев. – С ума посходили на этих романсах.

– Да, ретро сейчас очень в моде, не спорю, – сказала печально Полина мама и руку ему протянула, знакомясь: – Мадина Петровна.

– Нечастое имя, – промолвил Сергеев. – Татарское?

– Что вы? Какое татарское? Гора есть такая в Усуйской долине. Мадина. Гора. Вот отсюда и имя.

– А что за долина такая: Усуйская? – опять удивился капризный писатель.

– У вас нелады с географией, что ли?

– Да. И с географией тоже. Однако... – Сергеев достал из портфеля икорку. – Вот это к столу, так сказать. Очень свежая.

– Ах, это к столу? – И Полина мама вдруг встала в красивую гордую позу. – К нам, знаете, чаще с цветами приходят...

– Хотел, – стиснул зубы писатель Сергеев. – Искал. Нет цветов. Еще не завезли.

Полина уже догадалась, что мама и Яков Сергеев друг друга не любят, но и отступать было некуда, поздно.

Мама между тем внимательно разглядела писателя и, найдя в нем сходство с бросившим ее мужем, огорчилась и закипела. Ну, сходство действительно было. Во-первых: очки. Хотя у мужа они были старомодными и круглыми, а у Якова Сергеева – по самому последнему требованию современности и в черной к тому же, тяжелой оправе. Но это не суть. Суть была в том, что и у мужа, и у писателя были похожие, низкие и влажные, голоса, на которые так падки женщины, молодые девушки, подростки вертлявого женского пола и даже старухи, которым, казалось, дай булку с изюмом – и все. А вот и не все! Старухи такие бывают влюбленные, так головы часто теряют, что ужас. Ведь ты же – старуха! Ну, зеркало есть у тебя или нет? Зачем

в голове одни тряпки да мальчики? Зачем маникюр на себя налепила? А внуки там, правнуки или праправнуки ее не волнуют, такую старуху.

Итак: они сели за стол. Писатель Сергеев решил потерпеть: поганая баба, уйду и не вспомню. Нашлась кстати водка. Он выпил с дороги. Полинина мама едва пригубила. Полина пила только сок, притом с мякотью.

– И как у вас лето проходит, Иаков? – спросила сурово Полинина мама. – Не все же романы писать, я так думаю?

Полина чуть вся не сгорела, услышав, что мама сказала «Иаков» Сергееву. Здесь, вероятно, и крылся какой-то подвох.

– Для моей работы не существует ни времен года, ни часов суток, – ответил новоиспеченный Иаков. – Писатель, вообще, это дело такое...

Мать с именем в честь неизвестной горы его перебила:

– Иаков, зачем вам нужна моя дочь?

– Не надо об этом! – забилась Полина.

– Молчи! Молчи, Попелька! Если Иаков сейчас объяснит свою роль в твоей жизни, то всем нам за этим столом станет легче. Я ведь воробей-то уж очень обстрелянный. – Она посмотрела с тоскою на сосны, в пушистых верхушках которых, чернея внутри золотистого летнего света, зачем-то дрались воробьи. – Мне, знаете, больше терять уже нечего. Вот дочь у меня – это все, что осталось. Ей только исполнилось двадцать, а вам?

– А мне двадцать два, – огрызнулся Сергеев.

– А вам пятьдесят и ни капли не меньше, – отрезала мама Полины, прикинув на острый свой глаз, что писатель годится Полине в отцы.

– Да хоть девяносто, какое вам дело? – спросил очень грубо прозаик Иаков.

Мадина Петровна закинула голову и заколыхалась от мелкого смеха.

– Что значит: какое мне дело? Я кто ей?

– Она, слава богу, на вас не похожа.

– Она – моя плоть, и она – моя кровь! – сверкнула зрачками Мадина Петровна. – Поэтому я вас сюда пригласила. Понять направление ваших поступков!

Полина чувствовала себя так, как чувствуют все живые существа – коровы, и овцы, и куры, и гуси, – когда настал час помирать. Корова, к примеру, ведь знает, что этот, в большом окровавленном фартуке, парень не просто так в гости пришел на блины, и даже цыпленок, столь шуплый и нежный, что им можно пудриться перед театром, старается улепетнуть от хозяйки, кричит и скворчит во все желтое горло, и рыба, уже на крючке, вся сияя, пытается словно взлететь в облака, – короче, все знают, и все понимают, но фокус лишь в том, что взлететь, уползти, как ты ни старайся, отнюдь не удастся – терпи, подставляй свою кроткую шею и жди, когда боль от ножа и удушья сама завершится, как все завершается.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.